

ПОКОЛЕНИЕ

выпуск двадцать первый



книжное обозрение



В начале XXI века в поэзию вошло новое поколение. После нескольких альманахов и антологий этот книжный проект впервые представляет читателю самых ярких его авторов.

Виталий Пуханов
Клуб «Дебют»

Дмитрий Кузьмин
Издательство «АРГО-РИСК»

Илья Баранов
дизайн серии

Алла Горбунова

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, МАТЬ АДА

2008

ББК 84.Р7 – 5

Г 67

Алла Горбунова. Первая любовь, мать Ада: *Первая книга стихов.* – М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2008. – 96 с. – Серия «Поколение», вып.21.

Алла Горбунова (р. 1985) окончила философский факультет Санкт-Петербургского университета. Публиковалась в журналах «Новый мир», «День и ночь», «Дети Ра», на сайтах «Полутона» и «TextOnly». Опубликовала также несколько статей и рецензий в журналах «Критическая масса». Лауреат премии «Дебют» (2005).

ISBN 5-86856-161-9

ББК 84.Р7

I. ПОЛЯРНЫЙ САД



Люцидный сон. Ты кто? Я только снится.
Мне тесно, пропусти меня сюда.
Ключи ночей, открытая граница.
Но отчего, скажи, так больно мне всегда?

Мы замкнуты. Мы больше не открыты,
миры уходят за моей спиной.
Травы весенней праздник воскресенний,
и смертные ростки идут домой.

Их дома ждут тепло и чернота,
витые корни, скользкие созданья,
песок горячий, влажный перегой.
Бессмысленные крохи мирозданья,
и смертные ростки идут домой.

Где неизбежность встретит невозможность,
трава и пальцы, лани и олени,
я в лицах, в лицах всех вас узнаю.
Где каждый друг мой, родственник, соратник
идёт домой и начинает сниться
сквозь бесконечность в молодость мою.

Один рождён для бесконечной боли,
другой рождён для бесконечной жизни,
и каждый обернётся на краю.

Я думаю, я где-нибудь вишу,
в каком-то коконе, средь грозových разрядов.
Во снах моих зелёная земля
рождается из мыслей и видений,
и я как будто действую внутри.

Попробуй: кровь. У мёртвого оленя,
на беспредельном лезвии ножа,
и кровь солдата, на войне последней
разрезанного лазером внутри.

Трава и пальцы, шкурка мёртвой лани,
как на костях шаманы ворожат
в траве небес, среди зыбких тел желаний,
а кровь одна, и действует внутри.

Попробуй: боль. А мы с тобой похожи,
ты кто? Я лань, и я иду домой.
Скажи мне что-нибудь. Не бойся, я с тобой.
Ты не одна, здесь дикий-дикий запад,
высокая-высокая трава, садится солнце, я ещё жива?

Люцидный сон. Ты кто? Я только снится.
Приди ко мне, и боль мою возьми.
И пропусти меня туда, где только снится.
Приди ко мне, и боль мою возьми.

Отмычка есть, и мы опять открыты,
миры уходят за моей спиной.
Индийский дым у края горизонта,
и смертные ростки идут домой.



Жажда моя гложет, гложет
Ало яблоко червлёно
черви соки пьют и точат лоно
в сердцевине ложе

Сомкнуты солоны вежды ведьмы
глухо в висках стучат молоточки
всхлипов, всполохов, междометий
черви яблоко точат, точат

Есть единение глубже, тоньше
до омовения сердца в сердце
Лбами о стену истошно тошно
створы, затворы, трепещут дверцы

Дао любви купина купала
Жажды вампира неодолимай
яблоко сочно, червлёно, ало
яблоко лживо, а близость мнима

Жажда моя, жажда, жажда



Тошно и омерзительно видеть
и знать с изнанки, что происходит
с тем, что было розовым, гладким, грудным, молочным,
с тем, что купалось во внутренних водах,
водах живых, маминых, околоплодных.

Повырастало у этого чёрт знает что такое:
и хвосты, и рога, и копыта, и ямы, и горки, и частоколы,
теперь это нужно мыть, подстригать, приводить в порядок,
и как это всё изнурительно и неприятно.
Было оно молоком, а потом станет ядом,
было румяным и гладким, а станет — в ужасных пятнах.

Нужно это таскать по поликлиникам, давать лекарства,
сдерживать, обучать, приучать к обществу и государству,
и ненавидеть это, за то, что ему больно,
за то, что оно слабое, глупое, слепое,
и ненавидеть его до конца, долго-долго,
и жалеть, и лелеять, и всюду таскать с собою.
Всюду таскать и представлять собою.

Одна лишь надежда, что как-нибудь встречу кого-то
смеющегося, румяного, танцующего на водах,
он перстом кривым, жёлтым меня, словно жалом, уколёт,
и не будет после того ни болезни, ни боли.
И я снова стану розовой, гладкой, голой,
отвалятся все хвосты и рога, затянутся ямы,
выпадут частоколы,
и я стану грудной, совершенной, шарообразной,
бесполой.



Во сарайчике-сараяе с запахом бензина
с милым мы, с любезным братцем пили злые вина.

Милый днесь меня смущает сумраком чела,
от него я — негодяйка! — нечто зачала.

Что-то выйдет у нас с милым, что-то за дитя
величать нас будет с братцем мамкою и тятей?

Будет полон вешней боли, отблесков грозы,
будет как алтарь янтарный,
будет как жасмин нектарный
богоданный Сын.



В этой ночи осыпается белый налив,
в наших бочках жёлтый туман,
земляника, мельчая, растёт никому,
и снится, что я где-то здесь.

Мне снится так странно, и я живу,
просыпаюсь: сухо во рту,
прозрачно, спокойно, одни глаза,
и я никого не люблю.

Как с температурой, при гриппе, в старости,
в тайне, в девичестве, в зверином оцепенении,
как смотрят вещи, как дышат растения,
как сопит младенец, как ходит сомнамбула.

И ясность, и чёткость необычайная,
всё есть, как есть, и какая разница,
капает дождь и верёвка качается,
резиновые сапоги, накидка, спутались волосы.
Сейчас убью, как во сне, без вдоха, без выдоха,
как на войне, без желанья, без выбора
с чистым сердцем, с ароматом ландыша.



Старая стану — приеду туда,
где в цветах и пырее мертвы поезда.
Лисички в лесочке, осока, аир,
на велосипеде с горы — в нижний мир.

Старая стану — приеду туда,
смотреть, как в колодцах иссякла вода,
смотреть, как на листьях осела руда,
как разрослись ваши, блин, города.

Вот эта тропка боли в леса,
вот у любимой стальная коса.
Асфальт, песок, сосновый бор,
в лесу гуляет дева-мухомор.
Но вот наш зелёный облезлый забор,
вот это детство сквозь дождь за окном,
вот это детство, слышь, как гроза,
как пугало-бука, проказливый гном,
как пиво и мёд, что текут по усам.

Прояснение сознания мне ни к чему,
я выберу пёструю детскую тьму,
птичьи, звериные пятна, картинки,
лица и руки, обиды и радость.
О, составлять воедино картинки
не надо, не надо, не надо!

Вот это озеро чистой любви,
в нём утопилось три сотни девиц,
трижды топилася в нём я сама,
может, от горя, но не от ума.

Но старая стану — приеду туда,
где я была влюблена, молода.

Вот эта улица, вот этот дом,
вот эта девочка идёт за водой,
из-под косыночки локон седой.
Вот эта улица, вот этот дом,
вот и дедок, копошащийся в нём.
Вот этот лес, этот яр, этот лог,
здесь под сосной похоронен мой бог,
вот эта улица, вот этот дом,
где он меня зарубил топором,
здесь паутина, и сырость, и тьма,
здесь я лежу убиенной сама.



Бродиль по граду Питеру большая крокодилъ.
Она меня похитила, а мать меня родиль.
А крокодилъ похитила и в Невском иле-Ниле,
как Антиноя Адриан, она меня любила,
и, как волчица Ромула, поила,
и звёздную полынь под спину мне стелила,
и наливала мне в консервную банку вод
последневре́мённых вино,
и приглашала других крокодилъ,
много других крокодилъ,
и танцевала со мной,
день и ночь танцевала со мной
кадриль, кадрили, кадрили.

О моя крокодилъ, крокодайл, крококо!
Там на лугах, ты слышишь, пасутся ко,
а моя крокодилъ, как мадам Помпадур, пудра
контуш рококо,
а моя крокодилъ сделала мне бо-бо,
она меня съела, малютка, вот и вся любовь.

О, кто бы ты по Питеру, голубчик, ни бродиль,
я помню только первую кро-ко-дилъ!
Ходи по школам, миленький, как маньяк,
в коньяк своей любовнице добавь мышьяк,
выябывайся, словно сам Растиньяк!
Дрочи у детских садиков — как пе-до-филь,
копай в ночи на кладбище — как не-кро-филь,
имей себе козлёночка — как зо-о-филь, —
я помню только первую кро-ко-дилъ!

О моя крокодилъ, крокодайл, крококо!
Я теперь просто огрызок — от любви несказанной такой,

а моя крокодилъ — как яйцо Фабержэ, она —
как пропасть во ржэ,
а моя крокодилъ мне сказала ам-ам,
она меня съела, малютка, вот и весь любовный роман.

Она меня завёртываль в целлофан,
она меня неистово целоваль,
она мне шёрстку гладила — утюжком,
она мне тёрла мордочку — наждачком,
она колола в лапку мне — всяку дрянь,
она наносила мне много красивых, ни на что
не похожих ран.

Она мне говорила матные злые слова,
она вытирала попу моим подолом и сморкалась
в мои рукава,
но она была всегда права, а я неправа.
Она надо мной так плакаль, когда я была мертва.

Она меня любила, как Ахиллес Патрокла.
Она надо мной так плакаль, когда я сдохла.



Позвонит мне Т., я ему скажу,
несуветная такая красивая жуть,
безответная такая красивая жисть,
что ни к чему мне звонить.

Что я у меня всё совсем не так,
цветёт у меня большой красный мак,
и с сердцем пролапс,
и с солнцем коллапс,
и я больше тебя не люблю.

Позвонит мне Л., я ему скажу,
одуренная такая гремучая жуть,
свистоплясая такая нескучная жисть,
что ни к чему мне звонить.

Что я у меня всё совсем не то,
цветёт у меня большой красный цветок,
и с сердцем пролапс,
и с солнцем коллапс,
и вообще, извини, я сплю.

Позвонит мне Р., я и ей скажу,
незабвенная такая дремучая жуть,
прелестная такая гремучая жисть,
и странно, что ты звонишь.

Что я у меня всего ах да ой,
цветочек аленький, чепец золотой,
и с сердцем пролапс,
и с солнцем коллапс,
и как поживает твой Макс?

Позвонит мне Бог, я Ему скажу,
вот, блин, задолбали звонят и звонят,
и жуть хороша, и прелестна жисть,

только некогда мне говорить.
Что я у меня всё вполне, вполне,
мессу служила вчера Сатане,
и с сердцем пролапс,
и с солнцем коллапс,
а так ничего, живём-с.



Видеть хочу, и не подсовывай мне
живые картинки в абсурдном твоём кине.

Вот они ходят, как будто всё это так,
но ты не оставишь меня в дураках.

Это последний шанс и последний раз,
последняя пуля, последний глоток серебра.

Это последний цветок сентября и гора,
где заливается красный осипший рак.

Невъебенная радость мне протянула крыло,
она принесёт тюльпанов, когда я разобью себе лоб.

Даже кожу сдираю и выжигаю глаза,
только чтоб ощущать, и видеть, и смочь сказать.

Когда тишина остывает ночами в нас,
издалека мне трубит, обжигая, гобой:

это последний раз и последний шанс
на тебя, на неё, на любовь.



Отрежьте мне мои Курилы,
по сантиметру, не спеша,
чтоб меня в мире не чморили,
как плохиша.

Отрежьте мне мою Камчатку,
там тканей явственный некроз,
и одуряющею ваткой
умело сделайте наркоз.

Пинок под чашечку колена,
поставь меня на общий путь!
Я стану вам не сувереном,
и вы меня ударьте в грудь,

чтобы железной и солёной
из-под бинтов текла заря
по блекнущему небосклону,
по изотерме января.



Я знаю, новое придёт,
я знаю, старое вернётся,
и вечно юный мир проснётся.
Издаю сады играючи нам машут.
Чтоб ты не спал за годом год —
мои патриотические марши.

Твоя-моя страна в цвету
о Джовинецца Джовинецца
Поверь, товарищ, всё вернётся.
Издаю сады играючи нам машут.
И про мечту, твою мечту
мои патриотические марши.

Твоя-мою не понимает,
но смерть и радость не напрасны,
но жизнь и горечь не напрасны.
Издаю сады играючи нам машут.
И для тебя, прекрасный брат,
мои патриотические марши.

Ретро XX век

Старое радио, альбомные вырезки,
стихотворения из Юности
Что говорят по старому радио,
что шуршит в старых альбомах
Какой валидол в театральных сумочках
туфельки — ретро — пятидесятые
Что говорят по старому радио
О любви, товарищ, и смерти



Что говорят по старому радио
Война, товарищ, война, товарищ.
За три дня до Победы умереть под Берлином
нечаянно застреленным своим же часовым.
А ты радуешься, яблонька? — радуюсь.
Весна, товарищ, весна, товарищ.
Будет земля пуховой периной
всем мёртвым и всем живым.



Фронтовые записки читают, товарищ
о твоей любви читают, товарищ.
А моя любовь, а где моя любовь,
её черти унесли, фраера украли,
молодые юнкера в карты проиграли.
А у их младой пушок нежный над губой.



Что говорят по старому радио
Любовь, товарищ, любовь, товарищ.
Тракторист приглашает доярку,

Марк Львович Розалию Срулевну.
Мелодичные песни о вечном,
пароходик плывёт по Волге.



Что говорят по старому радио
про землю молодости, товарищ?
Говорят, что она незабвенна,
детства и юности те же пейзажи.
Говорят голосами любимых
Она в цвету, товарищ, она незабвенна



Что говорят по старому радио
для пожилых одиноких женщин
Пускают старые нежные песни
говорят, любовь придёт неожиданно
по тропе негаданной, любой.
Шестьдесят лет идёт и до сих пор идёт
в просторах старого радио



Что говорят по старому радио
Конец Кали-Юги, товарищ,
металлы устали, товарищ,
и не хотят отдавать мне своё сердце.
Травки мои клятые меня не лечат.
Всё вернётся, товарищ, всё сбудется.



Старое радио, немое кино,
изменения дамской моды.

Что говорят по старому радио
Старые шлягеры, ретро, джаз.
Оккупированная Варшава,
куклы из Кракова, куклы из Вильно,
тревожные сны старой Европы
о ненависти, товарищ, о молодости

666

Как мне мама говорила не ходи
до утра гулять на гостьбище во ад.
Там клубится горький никотин,
там писал апокриф Никодим,
и витрины, клубы, вывески горят.

Будет мир тебе, что скатерть,
шепчут демоны, любя,
и на каждом на плакате
надпись: Зверь
любит
тебя!

Inferno nigredo
Орфею награда
в Москве киммерийская ночь

Слышу, матушка в окошко мне стучит,
это сердце моё страждет и стучит,
иллюминасьонной красоты
тонущего города черты.

Знает в Бельгии компьютер
про меня и про тебя,
я скажу, как Папе Лютер,
помни: Зверь
любит
тебя!

Скрепя сердце обручами,
не жалея, не любя,
наслаждайся без печали,
ибо Зверь
любит
тебя!



Когда б я не был так нетрезв,
пошёл бы я гулять на май,
когда б я не был так упит,
пошёл бы на парад.
Но гроб мой — гроб, и пушек треск,
салютный бум, летящий грай,
а я оглохший и немой,
и взяли фраера.
И веет дух, и сладок спирт, —
от ненависти до надежды,
когда бы даже так нетрезв,
когда бы так упит, —
за всё, что было прежде,
когда бы не был так убит,
на Пасху не воскрес.

Баллада о солнечной химии

1

Лежу в одуванчиках, искрах скворчащего Солнца,
в жжении тёплом ожогов
близ сельских колодцев,
каменных алтарей.

Вкусного золота львиного зева, пчёл, одуванчиков много,
светлые нити барочных артерий, причудливых галерей.

Солнце восходит на востоке, с левого боку,
выходит из сердца,
эманирует вниз до левой ноги мизинца,
поднимается ввысь до ума,
входит и сводит с ума,
и начинает полдень, в который могут
влюбиться в него и согреться,
но Солнце — не человек и не птица-синица,
потому, что Солнце должно ещё закатиться.

2

Солнце заходит в печени, там, где запад,
печёным яблоком усталым,
пьяной ягодой окровавленной.
Сварог и Сварожич, свет-лыко и лапоть,
что угольными сказать я могу устами
о том, каковы твои, Господин, имена?
Солнце заходит в печёнке, и, значит, она
ни алкоголем, ни кофе не будет отравлена.

3

Солнце запечатлевается в кости,
пробирается в спинной мозг,

проходит по пищеварительному пути,
Солнце входит в дыхательные пути,
но Солнцем дышать нельзя,
и рвутся альвеолки лёгких в груди.
Как у цветка силу Солнца
впитывает хлорофилл,
совершается фотосинтез,
выделяется кислород,
так у меня Солнце проходит по нервам,
растворяется солью в крови
и оседает в недрах, в моих минералах,
среди заповедных пород,
и, гуморальный, выделяется эндорфин.

4

И вот каменею, стала я — золотая принцесса.
/Сюжет О. Уайльда, рецептик от Парацельса./

5

У моего подножия толпа,
хмельные митинги, фаллические танки,
и на Дворцовой я, как ангел
Александрийского столпа.
Пусть Лара Рейснер в меня въедет на тачанке,
пусть спляшут вокруг меня прелестные вакханки:
чекисточки, дворянки, лесбиянки,
чтоб, как октябрьский лист, мой стан в их стан упал...

6

Но вот из кабака шли воры,
обссали мя со всех сторон.
В стыде шептала я и горе:
противные, идите вон!

Но в каменных устах и Слово не живёт,
и выползло невнятное шипенье.
Они в ответ вспороли мне живот,
и опустили, и по мамке крыли,
и золотая тушь текла с ресниц,
и бились, бились золотые крылья,
и Медный Всадник повалился ниц,
и плакали наяды в невской пене.
И стал мой взгляд — он нежен, как и чист,
как у возлюбленной часовен и больниц,
на то самозабвенное мгновенье.
Я золотой с себя стащила лист,
и вскрыли ангелы мне золотые вены,
чтоб оросились светом дни
сторонки Выборгской, обиженных и бедных.

7

И что мы видим — ну и рожи! —
гудит у памятника сброд
юродивый, офенский, скомороший,
запойный, криминальный, прицерковный,
и толкотня, и празднество на стогне, —
слышь, раздаётся золото в народ! —
и целое паломничество с Пряжки,
и воровской палёный алкоголь...
А у меня за них за всех мурашки
и ангельская золотая боль.
Меня грызут ужасные букашки,
я экстатически срываю с себя бляшки
и листья золота, сокровища Эреба.
Пусть алхимическое Солнце льёт отраду,
пусть кровь цветёт на стогнах Петрограда,
пусть черти жарят буржуинов в аде,
чтобы сиротке Машеньке в блокаду
досталось больше хлеба, больше хлеба.

8

Вы клюйте меня в темя, пичужки воробьи,
 а я — о да, я в теме, а Ты уже убит.
 Ой, что ли, позову я, как тьма зовёт из тьмы,
 Ты — волк, а я — овечка, я буду петь псалмы,
 Ты — палка, я — дощечка, отзовись, о, отзовись!
 А я хочу быть хлебом пичужкам воробьям,
 а я хочу на небо, я буду петь псалмы.
 Ты слышишь: тут на небо вдруг возжелала я,
 ведь я хочу, шоб радость, я буду петь псалмы!
 Всего не было и стало, ибо Ты сказал им, ибо
 Ты сказал камням и травам, Ты сказал мышам и рыбам,
 чтобы стало всё во славу, хорошо всё стало, ибо
 Ты сказал, чтобы всё стало —
 заебись!

9

Стою без глаз, обшарпанной и чёрной,
 из уст золотые розы изbleвав,
 и Солнце мой огрызок обречённый
 так стало нежно, кротко заливать.
 Есть в светлых нитях галерей подкожных
 живые розы, но они не вянут,
 есть трепет хрупкой жизни невозможной
 в расколоте сердечке оловянном.
 Мне пугалом стоять для глаз людских
 в страдающем, жестоком, странном аде,
 и мёртвые скворцы в ногах моих,
 и голуби на голову мне гадят.



Дай мне, если ты правда любишь, живой воды,
я без неё, без живой воды, ни туды ни сюды,
это такая метафора настоящей любви,
не какой-то там ерунды, а такой любви.
Из сердца ручки детские тянутся: дай воды,
тонкие мёртвые ручки просят воды,
обыкновенной жажду их не утолить,
лучше вообще не пить и себя не длить.
Обыкновенная типа тоже любовь,
это вода, которую пьёт любой,
это вечный недостаток, вечный убыток, вечный обман,
эпизодец, интрижка, женитьба, любовный роман,
это крупица их бедной радости, их питьё,
от которого никогда б не запел Орфей,
и пока не смешалось с дерьмом последнее сердце моё,
дай мне живой воды, а потом убей.



На ещё не опавший последний лист
опал первый снег октября
из-за мутного тюля его кулис,
где в сугробы сваялись моря.

Чтоб я мёрзла в тонком своём пальто
и во сне, затворяясь в меха,
переживала неведомо что
ветряные рыхлят лемеха

ветряные стеклянные облака,
земляные усопшие кучи листьев,
отражают немотные зеркала
пустотно-высотное закулисье.



Если выгляжу я пьян и вполне небрежен,
и в Бернгардовке зимой во большой любви
я её ещё умел — некторую нежность,
то теперь её совсем, я боюсь, забыл.

Был ещё в таком снегу Новгород Великий,
дружбу лучшую когда ехали храня.
Тот, кто в пляшущий колтун зимней повилики
бросит ножик, — попадёт, господи, в меня.

Осенний сад Петергофской дороги

В червлёных пятнах кисти чёрных клёнов,
подпорченных в своём великолепье,
раскидывал октябрьский сад клеймёный.
Обшарпанные львы
и херувимы нежные ослепли.
Среди пучками выросшей травы
на мокрых и разрушенных ступенях
лежали жёлуди — они одни поспели.
С холма склонился ясень,
а внизу
покойный пруд
в осеннем тихом хмеле,
покойный пруд
в непроницаемой ряске,
и всё забвение в невидимой воде,
и всё забвение, разлитое везде,
и херувим слепой ронял слезу,
и лев безглазый строил ему глазки,
и мир был лёгким и держался на весу
в идиотом рассказанной сказке.

Твой воздух ранит, что клинок дамасский,
в устах Эрота мёд, в сердце мазут,
о, научи меня убить лазурь,
когда после дождя она вернётся,
и научи меня, как твой Олимп смеётся.

Червоточины — виноградные улитки,
клёнов и дубов тяжёлые ветви
роняют алые, золотые слитки
на дегтярную землю, на скользкие плитки.

Решётки ажурные чёрные верви
у окон дворца.

Полыхающий сад, исцели мои нервы,
виноградная кровь, теки в моих венах
слепотой льва, красотой херувима,
братством резчика и резца.

Твой воздух ранит, что клинок дамасский,
в устах Эрота мёд, в сердце мазут,
о, научи меня собирать росу,
и облик свой увидеть в тёмной ряске,
и херувима отличить слезу,
чтоб в тёмной ряске при открытых глазках
мне мир был лёгким и держался на весу
в идиотом рассказанной сказке.



...и был бы миг — миг исполнения судёб
и обретения святого тела славы,
брата с сестрой нетленная любовь,
внутри печи металлов переплавы,
костей, сердец, желаний переплавы,
когда и разделённость и страданье
преобразит нетленная любовь.

твоя-моя нетленная любовь
и будет без похмелья охмелье
и будет без увечья оскопление
и единенье без совокупленья

...и был бы миг — но если без него

пусть будет нежность горячѣй и крепче,
и жѣстче, и отчаяннее речи,
но очарованней, как яблонево́й дым.
пусть будет тайна неприкосновенна
письма, и эроса, и то, что есть за ним,
и будет жизнь летящим дуновеньем,
и очарованней, как падают в моря,
и как поют о самом сокровенном
и никогда о нём не говорят,
и очарованней, как падают сердца,
пусть будет тайна неприкосновенна
и будет смерть как старшая заря.

чтоб не мешать с дерьмом мою невинность
мне обороной камни маннергейма
чтоб не мешать с дерьмом мою любовь
я сам её убил и в лесе спрятал
и уберѣг её от поруганья

в земле, корнях, её грибницах, соках,
так, ниже нижнего хранится, что высоко
натура, девушка, будь неприкосновенна
в гранитной обороне маннергейма

...и пули на земле у старых дотов,
земля хранит любовь в сокрытых соках
и ненавидит наши племена,
и запечатан мёд у цвергов в сотах,
в лесах блуждает зимняя война,
и тот, кто не напился допьяна, —
на свете не согреться, не согреться,
и очарованней, и падает, как сердце,
в озёрный край прозрачная весна.

...и с нею грозы вод околоплодных,
и с нею все небесные полотна,
подснежники и китежские флейты,
и печки, что затопятся в домах,
где наших с братом тел творятся сплавы,
и где мы обретаем тело славы,
и где я в оный год сошёл с ума,
и с нею половодье рек молочных,
и с нею наполнение колодцев
водой целебной с-под алатыря.
и с ней твоя-моя любовь нетленна
земля и тайна неприкосновенна
и смерть верна как старшая заря.

Кости, земля, трава

Милый, так страшно: кости, земля, трава,
говорить с тобою будет в поле моя голова:
так бы лежала с тобою тёпленьким,
когда бы была жива.



Тело гниёт в земле, превращается в золото ртуть,
внутренности мои великаны варят в котле,
смотрит из чащи на тебя моя левая грудь,
смотрит из-под корней на тебя моя правая грудь:
так и лежала б с тобою тёпленьким,
когда б не была в земле.



Стынет ноябрь, в земле усмехается нижний бог,
говорить с тобой будет из озера мой правый бок:
так и лежал бы с тобою тёпленьким,
когда бы я только мог.



На пустыре кости, трава, целлофан,
мой мизинец отрезанный страшная птица ест,
помнишь, как ты меня гладил и целовал,
зачем ты меня оставил, мне одиноко здесь.



Знаю, пребудут кости, земля, трава,
говорить с тобою будет в поле моя голова,
внутренности мои великаны варят в котле,
смотрит из чащи на тебя моя левая грудь,

смотрит из-под корней на тебя моя правая грудь,
говорить с тобой будет из озера мой правый бок,
мой мизинец отрезанный страшная птица ест,
это мир мёртвых, что ты меня разлюбил.



Озеро Онего с голубым снежком,
по нему гуляют жмурики пешком,
их потом увозит аэромобиль.
Я кого-то нынче, кажется, убил.

Сосны обрамляют угольной стеной,
это всё далёко, это не со мной,
я же ангел божий, ответ неземной,
светлая дорога, слышь, передо мной.

Маленькие сосны дальних берегов,
это перспектива, это горизонт,
оторочка лисьих сказочных мехов,
армий снеговичьих леденящий фронт.

Странные фигуры стынут на ветру,
камня и железа, и творенья рук,
идолы для капища, чурбачные дары,
а за ними древние безлюдные миры.

В наркодиспансере нынче новый год,
мы придём попросим, нам что-нибудь дадут,
а в соседнем морге тоже новый год,
и, конечно, новый год в камерном аду.



Есть западный парк за кирпичным закатом,
за башенной церковью из кирпича,
за пустырной часовенкой солнечного луча,
за белокаменной церковью из кулича,
за тёсаной церковью, вырубленной с плеча, —
есть западный парк, тот, что был приусадебным садом,
но разросся в мою неминуемую печаль.

Вот классицизм усадьбы на холме,
трамвайчики бубенчики прицельно
в новостройках, где чайки, в сердце солнечного луча
туда, где залив и фонтаны, дворцы и Стрельна
наперекор зиме
увозят капель-купель-канитель-печаль.

А ночью, а на перекрёстке —
найдёт любой, —
неразличимы сосны и берёзки.
Две розы у ночи, две розги:
любовь, разбой.
И населяют парк медвежьей тропой
одни любовники и отморозки.

Я примыкаю к первым иль вторым,
наверное, вторым,
и снега лёгкий дым,
и дыма лёгкий снег,
и снежно-дымный сон
слетает с красной горки колесом.

От новой масленицы и до старой
всё отмотается, вернётся на ничью,
полынью синей вспыхнет в полынью,

как иней на серебряной стремнине.
Приносит сад жестокие плоды
в кострах от масленицы до Купалы.

Мышиный сыр — на небушке огарок.
От новолуния до левой половины
любовный плен сосновой домовины
под снегом талым,

под цветом алым

горяч невинным,
лёгок молодым.



Как оно поделалось — непередаваемо:
Господ Господа прибил, растерзал, сокрыл.
Стал в веселии один — Князь непререкаемый,
а Другой мне завещал тайну горних крыл.

Вот ищи его теперь дикими дорогами,
чтобы только обойти княжеский закон.
Ты ищи на дне озёр, за семью пороками,
и тебе на оба рога улыбнётся Он.

Путь к Нему лежит — хе-хе, — я шепну на ушко те:
через запертую дверь, через тайный ход.
Оттого одну игру любим мы с подружками,
и читаю «Отче наш» я наоборот.

Путь к Нему лежит — хе-хе, — эксцессивным методом,
кой-какой эротикой, но вам не понять,
не словами связными, но надрывным лепетом,
кой в лучшие часы был и у меня.

Так-то в поисках Его, глядь, дойдёшь до Киева,
только верная тропа в озеро вела.
Как бы поженить Сафо с внутренней Софиею,
то-то это б свадебка на сердце была.

Ты Его в траве найдёшь после бездны звёздною,
после смерти и войны, жертвы и весны,
и откроются тебе Его очи росные,
плачущего Отрока, Мужа и Жены.

От того прекраснее Он, что искалеченный.
Марой растворяется весь козлий лик.
Он наденет для тебя платье подвенечное,
коль ты сжёг разменный рубь матушки-земли.

Засмеётся Он тебе радостно, неистово,
спросит: — Ты пришёл ко мне? Это ты к чему?
Нет коль скоро ничего чистого-нечистого,
Его Фаллос поцелуй и скажи Ему:

— Я искал тебя, Мой Свет, в их дурацких истинах,
коих нету ни одной, кроме красоты. —
Льнут полярные цветы, клёны звездолистные
прячут светлые лучи Северной Звезды.



Где дом ничей во дворике нездешнем,
где, наша участь, ты предрешена,
произрастает дикая черешня,
которая меня лишает сна.

Вороний крест, клеймёные осины,
под наставленьем чёрной аббатисы,
под наставленьем матушки-гусыни
растут во зле нетленные нарциссы.

Вороний крест, клеймёное плечо,
но это я вишу на огороде,
красивый был, но праведник юродив
в губах, покрытых дикой алычой.

Я это увидал во сне и боле,
и много ещё боле увидал,
когда не будет ни любви, ни боли,
а только даль, ты понимаешь, даль.

Иней пены нежной

На сердце иней пены нежной,
я начинаю, как романс,
чтоб соловьиный мой Прованс
нам чаялся в холмах,

и в час сиреневый и вешний
на сердце иней пены нежной
свёл кой-кого заветного с несметного ума.

Какую бы м^узычку, м^узычку
мне для тебя придумать,
незатейливую и лёгенькую,
вроде детской игры,
чтоб ты попалась на удочку,
 дудочку, гусочку
и согласилась со мной играть
в солнца, звёзды, миры.

Воображаемый товарищ,
когда я отвернусь, ты исчезаешь,
потому что тебя не бывает,
но тянется наш разговор
о наименованиях боли.
Мы исследователи из отдалённых уголков галактики,
мы двадцать лет исследуем эту тему на практике,
и научились инею пены нежной,
с ног и до головы, как в болоте Иван Сусанин,
мы в нём как в огне,
как в живом огне, как в фаворском свете,
как в нетленном завтра, в небывалой нашей одежде.
В Дионисовой колеснице
 сок на спицах,

из глаз его ядом весенний капает сок,
лучше халвы-пахлавы,
а я пишу такие хорошие книжки, сказал N,
потому что у меня так болит голова.
А я бы каждую спицу воткнула себе в висок,
забивали бы маленькие молоточки,
вот и музычка бы была,
а швейная машинка прострочила бы строчки
с ног и до головы, небывалую нашу одежду,
а потом бы я на руках твоих умерла.

PS

Множество иголочек должны быть повернуты вовнутрь,
в каждую пору, а иначе, дитя моё, мы не поймём друг друга.



я снова сплю. когда бы мы не смели
плотнее быть, чем первые лучи.
привратники, отдайте мне ключи,
нас ждут в лесу гигантские качели.

и падаешь до глубины бездонной,
другого поднимая выше солнц,
и каждый миг венчается твой сон
всею бесконечностью диапазона.

и друга ниже нижнего роняешь.
на миг сравнялись два конца доски,
и тянутся две фосфорных руки,
и вновь над лесом брошенный взлетаешь.

и падаешь, и, брошенный тобой,
выше деревьев полетел другой.

Концерт №1, Камень

Играй в руинах, алый, золотой,
мой храм дразнимой сбивчивой надежды,
дающий обмануться своей прежде
искристой бесполезной красотой,
мелодию и камень сведшей в тлене,
нетронутой, как летний мотылёк,
нетронутой, как лилия на вене,
она в касанье вспыхнет, как чулок
ажурный на возлюбленном колене.
Она осыпется роскошною сиренью,
червивым мёдом в фосфорных огнях
лица красавицы дотронется гниенье
ещё при жизни в складках и тенях.
Ума учёного дотронется гниенье,
чтоб тонкий разум тронулся, и под
ним, как коралл в подавшейся геенне,
одна печать любви, как винный мёд.



войди в собор, венки снимай
на полотне словес,
эльф новолунья: се гряду
в цветах папоротника и надежды.
познающий тайны природы, Фауст нежный,
поющий в саду, ребёнок и маг
тыльной стороны мать-и-мачехи,
что сказал Господь Господу моему,
любовь моя, а что мой Господь сказал Господу?
/распни меня
и опусти где самый низ
и обездвигь
и заверти — витрувианский человек

распни меня
на полюсе земли, в ободке колеса, на осях математики/



...войди в Собор. округлые колонны
и две прямоугольных, на фронтоне,
IN HONOREM, он палевый от солнца,
и в шаре золотом торчат
пластины и зубцы.
нас приглашают мертвецы.

два херувима матовые с жёлтым
от старости младенческих коленок,
каймы крыла и завитков волос
подпорченные, каменную ткань,
плащ розовой
схватили за концы.

морская раковина из слоновой кости
как лилия в тяжёлой колыбели
медово-жёлтых раковин лежит.

и почерневшей бронзой или чем-то
за нею крылья, лилии иль ветви,
вздываются полувенком одним,
как славы нимб.

она откинулась назад,
и прочертились лепестки.

Ангел один смеётся, другой надул щёки.



...Ты видишь, грозовой чертог,
как у медной-горы-хозяйки каменный сад,

Ангел один заходит в мой мозг,
другой в моё сердце,
но и там и там их встречает одинаковый ад.
В прожилках камень, все сорта
гранита, мрамора и яшмы,
там красота и пустота,
и боль, которая чиста,
чиста,

как мне не верят.

Смыкаются тяжёлой позолотой
дуги, что держат купол.
Бордовые в белых прожилках рёбра
выступают из стены в тусклых овалах, узорах.
Но владелец этого человек, говорят, недобрый,
и богат он так, потому что является вором.
Но владелец этого не человек — Господь.
Человек этот мёртв, а богатства его не его.
Вся красота вдыхается в ухо одно,
создаёт чертог
и выходит в другое ухо,
когда забродит вино.



Обезглавлен, позолочен,
медный папоротник — крылья
нас положат на весы.

И в руке, воздетой ночи,
пересыпались как пылью
его песочные часы.

Завтра нас на завтрак папа
в корзинку соберёт:
как смерть нас подкосит,
как Хронос пожрёт.

Повернётся матушка стальными зубами,
адскими воротами,
заброшенными штольнями,
затопленными шахтами.

Йобнет меня братец аж по самую голову.
А я клянусь никогда не любить
ни мужчину,
ни женщину,
ни ребёнка,
ни зверя.



Но если я встречу Будду — убью Будду
Если я встречу святого — убью святого
Встречу отца и мать — убью отца и мать
Встречу любимую — предам любимую
Заговорю с любимой — солгу любимой
Полюбит любимая — брошу любимую
Поцелует любимая — ударю любимую.



Преступно зодчество, оно
спасает искорку от смерти,
уступчиво и твёрже тверди
его гранитное руно.

И в чашу брошено зерно,
что образ правильный очертит,
в пятисотлетней круговерти
его несёт река Арно.

Ты, искорка, замри, умри, —
что станет музыкой и дымом
летает, тает молодым.

Мне бросит яблоко Парис,
когда растает камень мнимый
и в красоте восстанет дым.



Что было палевым вдали —
вблизи мрачнее и серьёзней,
Решётка строит на двери
свои готические козни.
Окно с балконом, и над ним ещё одно, —
теперь квадратное /то — круглое/, — окно.
И падают на выступах в стене
хвостов павлиньих струйные каскады,
и стрельчатые струнные аркады
звонят о боттичеллевской весне.
Разлапились огромные колонны,
где воздух, воздух в небе колесниц,
что сцена гибели Лаокоона,
и он стоит, весь змеями увит.
Открой, Альмея, сон твоих ресниц!
Открой, Цирцея, купола синиц
Кассиопее осиянных свит!
Мне нужен воздух утренних больниц,
и я хочу, чтоб Храм многооконный
возлюбленной рукою был убит.



Но снова нежные рифлёные колонны,
светильники свисают на цепях,
и жёлтого, размешанного с розой,
размыты стены, словно второпях.

С узором чёрным, чёрной птицей, чаша
вздывается к крестам, как колыбель.

Щит, водружённый на вершину башни, —
виолончель.



что камня рыжего изъеденней?
— только моя голова, братцы.
какие порченые стены!
отчего ваше величество тянет ко всему такому?
его величество страдает депрессиями
не решаясь на большее, царапает вены,
два раза пил яды, впадал в кому
сам не знает какого он пола.
а у него в фаворе? кто у него в фаворе?
честные, благородные, милосердные,
не такие, как он,
считает себя поэтом в смысле высоком и подлинном.
я его стихов не читал, Гильденстерн,
он очень болен,
друзья его, зная это,
тушат об него сигареты,
прижигают ему ручки утюгом
по светлейшей просьбе.
днём он мужчина, а ночью женщина
только это всё вообще ничего не значит,
это всё как скажется,
под каким углом,
только лгать ему не смей
малый, а иначе
только это, только то
впрочем поделом



Разодранная виолончель. Дожди.
В них отблески легенд, голосов, вражды.

Запнулось время, знать, пора мне.
Первый концерт красоте из камня.

Но храм в музы́ке вольной вернуть в три дня
доступно Мастеру, — захоти меня!
Виолончель. Биенье ставня.
Первый концерт красоте из камня.



Мост через море, в фонарях
причудливые волнорезы.
В цепях чугунных якоря,
и к ним пристёгнуты десницы

сирен в ошейниках шипастых,
инопланетного железа.
В их лифах разевают пасти
полусобаки-полуптицы.

Иные вздёрнуты на дыбе
и бьют, как стрелки, с полчаса.
Но те прекрасней, на которых
убийственно поднять глаза,

как на Медузу. Их глаза
смертельны, хоть они на дыбе.
Но те прекрасней, у которых
часть нижняя подобна рыбе.



Я вижу землю далеко, туман — зелёное стекло,
и та, которую ищу, как сквозь печаль, через бутылъ.
Там вижу озеро на дне, его цветеньем повело,
стеклом зелёным алкогольным,
болотным пивом золотым.

А в нём блистает чешуя, и мой там прячется дракон,
дракон один — и он внутри, он мой кузнец, он мой венец,
и ту, которую ищу, годами пожирает он.
Я есть дракон, ты будь герой. Сказал — и мне
пришёл конец.

Он Змей Горыныч, бог Троян, я юный жрец, он мой отец.
Дракон один — и он недуг, он мой надлом, и поделом.
Ведь ту, которую ищу, я сам привёл к нему, подлец,
на его ящерное ложе,
его смертельное стекло.

Дракон один — и он недуг, он лучший друг, он господин,
а та, которую ищу, — из всех начал моя печаль.
Я есть герой, ты есть дракон, и пусть останется один, —
когда бы так мне мочь сказать, держась за рукоять меча.



Люцидный сон. Но отчего, скажи, так страшно
остервенелые запели птицы?

Садится солнце далеко за день вчерашний
в столетний день, который только снится.

Завтра, проснувшись, люди найдут, что нектар
осел в бочках жёлтым туманом,
что гроза ночью смяла кусты.

Я был собой и не собой, видел сны и разные страны
и получил пулю в сердце от красоты.

Мы ехали много часов, над водой поднимается пар,
в нём ранние лучи высветляют нимбы.

Едет машина через леса к карельской границе.
Вот ночь, вот день, лёг я юным, очнулся стар.

Родилась я злобной старухой из запечной пыли.

Умираю юношей. Едем ночью в автомобиле.

А между этим я долго лежал в больнице.

Сам не знаю, что не было, а что было.

Болотные огоньки блуждающей лёгкости учат,
даст лодку нам фермер, и мы поплывём куда-то
по ладожским шхерам, где сосны и мох на кручах,
через врата — к последнему мысу смерти.

Если ехать в машине так быстро, ещё быстрее,
превращаются пространство и время.

Пристегнутые ремни стали лунные светлые змеи.

Змея и ребёнок на светящихся скалах Гипербореи.

Очи змей и губы ребёнка крупной брусники,
мы здесь искатели звездолистного полярного сада.

Соснового, кленового, яблоневого под сердцем,
другого Господа, светлые волосы Береники.

Капризная стража обстреляла нас на границе,
и остался я с пулей в сердце за волосы Береники.
В глазах у слепого отрока чёрные с синим улитки.
— Теперь ты сестра Денницы, — он ждёт у калитки.

Едет водитель ночью в чёрных очках,
за рекой война, в лесах военный лагерь.
На шоссе девушка в вечернем платье.
Автомобиль сквозь неё проезжает.
Старуха вслед сыплет соль.

Её хижина у озерца, частокол в черепах,
петух-василиск её флюгер.
Превращается время, пути и иные сроки.
На указателях Марьямки и Куркиёки.
Отрок смеётся, преодолая боль.

И песенка в машине поёт себя сама:
как я ни зарекался, пришла моя сума,
я ерёма — ты фома,
я ерёма — ты фома,
а я дудка под берёзой, дунешь — я сойду с ума.
А я марья — ты иван,
а я марья — ты иван,
чай, я марья — ты иван, чай, иван-чай,
а я дудка под берёзой, я печаль.

В лодке я гребу, иль я лежу в гробу
и мне кажется всё это перед тем,
как не будет мне казаться ничего,
это равно всё не значит ничего.

Перевозчик бормотал на странный лад,
я узнала, что он финский был солдат.
Впрочем, в лодку сяду я один,
поплыву, а после лягу спать,
глядя в небо, больше не проснусь.

Вырос лес, где было озеро-в-лугах,
а торговцы рыбой больше не спешат.
Там на фьордах, на неровных берегах,
разделяет все столетья только шаг.

Впрочем, в лодку сяду я один,
я забыл тебя, и ты меня забудь,
как растает неба посреди
странный сон, непостижимый путь.

II. ПОДВОДНОЕ СОЛНЦЕ



Воды и стебли в водах,
и стебли,
подобно блаженным жгутам,
делают тело,
подобно подводным цветам,
тяжёлым, и, стебли срезая серпами,
идут к рукам под водой, где другое солнце,
со второго дна подводные косари
отсечь мои пальцы
облечь мои пальцы в тугие свитые кольца
облечь мои руки в маленькие
разноцветные пузыри.

но какое солнце другое на дне, со второго дна
видно солнце первого дна сквозь дно, и ещё одно,
солнце второго дна, что под первым дном,
но есть ли здесь тот, кто видел солнце первого дня?

так и стебли: что срежут серпы косарей
с виноградной подводной лозой?
эти руки на дне меж стеблей в серебре, где выпадает росой
воздух, проходит дождём, воздух для маленьких рыб,
кормом для маленьких рыб, что съедят меня и из меня
родят сотню живых пузырей для второго и первого дна,
но есть ли такая любовь, чтоб родить солнце первого дня?

Звери хоронят охотника

лисица:

охотника нет, охотника нет,
он наш друг, лучший друг,
ах, зачем покинул нас, на кого оставил нас,
он наш брат, старший брат,
как же мы? как же мы?

наймём мышку в плакальщицы,
соберём оркестр, и, немного фальшивя,
в высоком регистре начнёт контрабас
с сурдиной, и мы проводим того, кто оставил нас,
делая вид, что это весьма паршиво.

будем серьёзны, как дети перед первым причастием,
будем серьёзны, как служащий перед начальством,
плакальщица-мышка и я, лиса-несмеяна,
но нашу серьёзность на миг оттеснят
глиссандо струнных с форшлагами деревянных.

а потом мы спросим, хотя вообще-то нам всё равно:
братец Мартин, братец Мартин,
schlafst du noch? schlafst du noch?

медведь:

без охотника зверьё, будто без отца,
будто без отца и без матери,
отпоём же, отпоём родного мертвеца
по канону братца Мартина.

похороним его, как мыши кота,
похороним его, как земляной орешек,
как чёртика из подмышки в яичной скорлупе,
чтобы лежал в земле и не ворочался,
выйти не мог и ни-ни не ворочался,
только зубами скрипел.

а потом мы спросим, хотя вообще-то нам всё равно:
братец Мартин, братец Мартин,
schlafst du noch? schlafst du noch?

косуля:

охотника нет, охотника нет,
очень жаль, как нам жаль,
он был редкий человек, залихватский был стрелок,
так стрелял, в нас стрелял,
ах, как жаль! что за боль!

освещают его светлячки и стрекочут цикады,
а был бы он жив, ему бы стоило дать цикуту,
но мы соберём оркестр, и, немного фальшивя,
в высоком регистре начнёт контрабас
с сурдиной, и мы проводим того, кто оставил нас,
ведь проводить человека такого пошиба —
огромная честь для сырья мехового пошива.

будем серьёзны, как в день принятия в пионеры,
будем серьёзны, как будто бы символ веры
мы в душе повторяем и говорим с собою,
но нашу серьёзность на миг оттеснит
развесёлый мотивчик гобоя.

а потом мы спросим, хотя вообще-то нам всё равно:
братец Мартин, братец Мартин,
schlafst du noch? schlafst du noch?

Два воробья и гусь

Мы месим кашу сапогами
затем, что жили здесь когда-то
и воздух тихий воровали
два воробья

— несли лопатой —

и лёгкий холм сгребли над долом,
клобук надели на деревню,

несли в когтях или ладонях

поющий горн Армагеддона
венец невидимой царевны.

На сныти, козьем молоке
и яблонь паданцах соспрелых,
и на квасном брожении хлеба
спит монастырь Борисоглебский.

Венец невидимой царевны
несут как омофор Миледи
два мёртвых воробья

— в сосуде —

из пряничного янтаря.

Несут два воробья-юрода
и лёгкость чудо-самолёта
возносит нас на колокольню
и гонит в монастырский погреб,

а после нас бросает в реку,
в которой чешут перья гребнем
два воробья — два камикадзе,

— и самолёт взрывает базы —

крыжовенного хрустала.

— кристальной самой лёгкой крови
и смерти всех смертей прекрасней
и самолёт взрывает базы
/и самолёт срывает розы/
и по посадкам и погостам
растрескивается земля.

Меня учили ненавидеть
и научили ясновидеть
сновидеть, видеть
и летать —

и умирать —
как камикадзе
за красоту и страсть и ревность
к земле невысказанно прекрасной
— два воробья разжали когти
и самолёт взорвался сразу
и жизнь была прекрасней смерти.

.....
Но гусь, что святостью прославлен,
напомнит гоготаньем древним,
что никогда не будет явлен
венец невидимой царевны.

На чёрном дубе подстрели

/песня Соловья-разбойника/

На чёрном дубе подстрели
рахманного певца разбоя.
У Леванидова креста
я пел, и дивен был собою:

*Моё гнездо
в семи дубах,
в сырых дубах,
в лихих осинах,
в чудных черниговских лесах,
в твоих очах прекрасных синих.*

*Моё гнездо,
оно как Темпл
богов забытых,
тёмных, тёмных,
и музыки смертельный темп
в твоих очах прекрасных томных.*

У берёзы,
у Грязи,
у речки Смородины —
слушай мой хохот.

Песня моя о любви, о белом свете,
о скудных летописях
и пути от пелёнок до гроба,
о реке Смородине,
о Родине —
о невесте.
/Падают бомбы,

падают
небоскрёбы./

Песня моя и о том, другом,
о чём петь невозможно.
А о чём невозможно петь —
остаётся посвист,
остаётся невыносимый соловий хохот.
Песня моя о невыносимом,
за пределами речи,
за пределами музыки.
Ты мёртв, если ты её слышишь.

Ха!-ха!-ха!
-и!
-о!-хо!-хо!-
фьюи!-
цсссссссс
и-го-го!-
му-у-у!-
куд-куда!-
хой!
цсссссссссссссссссс

Моё гнездо
в семи дубах,
в сырых дубах,
в лихих осинах,
в чудных черниговских лесах,
в твоих очах прекрасных синих.

Моё гнездо,
оно как Темпл
богов забытых,
тёмных, тёмных,

*и музыки смертельный темп
в твоих очах прекрасных томных.*

Нацель свой лук, на чистый луг
вези — мне петь уже не любо.
Коснутся богатырских рук
мои смородинные губы.

Дай последних испытать утех,
заломить ракиитнику лóзы.
Белый кречет, собери мой смех.
Ворон, собери мои слёзы.

Стансы ближнего неба

Не посланными в космос кораблями —
любовью нашей сотканными снами
в пространство звёздное открыт для нас проход.
Ты слышишь, как Медведица поёт?

Солнце легенды красное над лесом
на ближнем небе, где всё так знакомо.
Деревья чёрные убитого дракона,
из капель крови, падавших с железа.



Где лучники и шахматные башни
/о, шахматы — воинственность созвездий!/,
нас у дворца Арктура встретит Стражник,
а перед ним мы — бедные невежды.

Беззлобны геральдические твари
турниров юной рыцарской Европы.
Чудной зодиакальный bestiарий
мы созерцаем весь без телескопа.



И над полями огненных соцветий
небесных трав я говорю невнятно:
— Любовь моя, уносит нас солнечный ветер,
другим губительный, а нам приятный.

Мы — лён и ветреная арфа, паруса,
которые колеблет ветер встречный,
где в сотворённых нами небесах
время души, соткавшееся в вечность.

Игры жестоких детей

1

Жестокое дитя говорит: где ты
спрячешься, когда я тебя полюблю?

— Таково же и я, и не спрячешься ты нигде,
а потому —

давай играть:

в войну,

в не-наступишь-на-ногу-умрёт-мама,

в падающего толкни,

в любовника и любовницу,

в утопленника и утопленницу, —

это ты, это я,

мы друг дружку найдём в воде

пожарного пруда среди стрекоз.

Истинно говорю, я не любил, как тебя, никого и нигде,

ни мать и отца, ибо не имел их,

ибо любить — поступок, а не приказ,

я говорю, а ты —

ты прячешься за мной,

и дёрнешь за рукав,

и в яму водяного опрокинешь.

2 / дитя плачущее и дитя смеющееся /

Дитя, в слезах:

— Ты мне разбил губу!

Я ноту оборву,

как ветер обрывает

какую-нибудь, например, листву.

/Из всех детей всех более жесток
Эрот, я знаю, мальчик-шизофреник,
сын то ли шлюхи, то ли нищенки от какого-то богача./

Дитя, в слезах:

— Не смотри на меня,
не играй со мной,
ты сделал мне больно сейчас.

Дитя, смеясь:

— Мне нравится смотреть,
и я хочу играть,
ты только пой, а мы на боль и не посмотрим.

3 /дитя изгоняет старуху/

Дерзкое дитя говорит старухе:
— Ты старая и некрасивая, не трогай меня
своими скрюченными пальцами.
Дитя красиво, глаза его
ясные, яркие,
мама его живёт на звезде,
и папа его на звезде, только другой.
Сын их не видел, но знает, кто он такой.
В жилах его течёт звёздная пыль,
царская кровь,
на лбу его печать магов,
всемогущество полубогов.
Некрасивой старухе,
умирающей, кстати, от рака,
он приказывает не трогать его.
И безобразная старуха отступает.

Незасеянное поле

/Ксения Блаженная/

на Петербургской стороне
в деревянных домах
да в мужнином мундире
блаженная жена,
странница безродная,
калика переходящая, —
Андрей Фёдорович.



умерла Ксенюшка от болезни, воскресла для жизни,
ибо кто умирает, становится тем, что он любит,
умер Андрей и стал Ксеньей, а Ксения стала Андреем,
как я знаю, кто стал кем, если они супруги,

как я знаю, кто голубем пенным спорхнул
из руки брадобрея,
как я знаю, не знаю, но только не спи:
сон навечно тебя погубит,
в незасеянном поле махнёт рукавами пугало,
проскрипит пустая телега, прилетят сороки на клёв.



как спасти тебя: много ли поменять одежды,
бродить, как нежить, собирая память,
любовь моя, как тебя не оставить
в незасеянном поле, когда пропоёт
ржаной королёк?



вот я умер во сне: любил ли ты меня в жизни,
как Орфей Эвридику, но говорят, что

иным даётся спасенье,
и от любви нашей, такой чистой,
ни ты, ни я не избегнем танца
ночных светлячков и трещоток.



но если я в каждом сне умираю, то кто меня будит
тем же, которым я был и буду, пока не забудет
он меня разбудить, и поддерживает в мгновенья
между актами мысли бессмысленное творенье,
зачем он держит меня, будто обруч железный, будто
я забуду себя, а он никогда меня не забудет,

будто он будит меня — но он не будил ни разу,
и ни разу я не проснулся после того, как проснулся,
и ни разу не мыслил после того, как помыслил.



правда ли, что я ничего не делал два раза
и ничего не делал, а просто
приходил куда-то в туфлях на босу ногу,
раздавал монетки с «царём на коне» другим нищим,
целовал детей, привлекал извозчикам прибыль,
мало это иль много, такая быль.

так в туфлях на босу ногу и пойду на суд,
когда нас с Андреем Фёдоровичем позовут.
а и звать никого не надо,
а и идти никуда не надо —
«Вся я тут».

III. ПРИЛОЖЕНИЕ: ДЕТСКИЕ СТИХИ

О творчестве

Когда я пишу, упиваясь сиянием букв,
у меня раскрывается тайная дверца во лбу,
и каплет оттуда гемоглобинная хрень,
и на бумаге красный слагается крест.

И чудится мне, будто тибетский монах
есть на свете, который всё ведает про меня,
и гарная будто дивчина о двух крылах
стоит за плечом, светла.



Мятой сушёной лечась, подорожником
в жаворонный предполуденный час у пороженька
кровь проливать:

«Даждь птице крылами раскинуться,
рыбе — жабрами и плавниками жить, править львам,
днесь».

Боженька нем стал и мним, я же с ним.

Чудо лесное, — не лисица, не заяц, не волк, не медведь, —
я с цепью на шее и бревном иду, ужаснись!

Куковать не устал тать, таяла береста,
словно на проросли мая обманный снег,
лучистый над телом убиенного старца нимб,
мне бы руки свои распротать,
на солёные доли, альпийские маки, к донным ершам и линиям
голову уронить.

Мой Элизиум, в токе кисельной реки седьмая вода,
с громовержцем прозрачная нить,
пригвождённая кисть. Где гулял, пропадал
мой вещий, огнекудрый и мудрый жених? Отчего головой
поник?

Когда бы росы не стыли к осени,
шла бы домой нагой, травила ртутной водой,
мышьяком, зрачков белладонной, как королева Марго.

Когда бы звёзды не ярились к осени,
была бы неприступной, как святая Орлеанская ведьма,
дружила б с убийцей де Рецем,
а получилась убогая, косенькая,
третья сестрёнка — терция.

И так до скончания осени,
чтобы весной, в недрах Земли,
настоявшись на благословенной крови агнцев,
забилося сердце.



Сосны рожают янтарь.
Чинит проводку монтёр.

Хожу в непрозрачных очках,
незрячих люблю дурачков.

Красива ты и умна,
строгая ты, не по мне.

Моя утекает печаль,
колеблется жизнь-качель.

Птичка чудесно поёт,
птичка — малютка-поэт.

Буду ли счастлива я?
Гнездо на тебе совью.



ой сладко жить во время перемен
томительно жить после всего и перед нечто
...и вина крепче
и солнце ярче...
и каждый поцелуй последний
ковыль-трава растёт на перекрёстках
от разрыв-травы зарастают раны
от марихуаны люди смеются
от правды плачут
...самая свежая постель у нас
самая твёрдая нежность
крепкий сон
крепкая рука...

Говорят вещи

вещи на даче между собой говорят:
как бесконечна эта зима, и сколько таких зим подряд
продолжается наша игра: половичка то скрипнет, то шкаф,
то стукнет о ставни, тёмные и сырые, неровные обои
прошуршат.

где руки, что животворят, что сделают нас живыми

а то иногда прихватит такая тоска,
у нас, у вещей, тоже ведь есть душа
ох, скрипит дедушкина кровать: мышки по мне спуют
с острыми зубками
целыми сутками
таскают сахар из больших мешков
где-то сейчас наш кот?
в городе

ты не печалься, кровать, говорит письменный стол
летом по-старому будет уют
хозяева приедут, кота привезут, только кот наш
отнюдь не ловец
будем служить, будет радостно нам и тепло,
когда вернётся человек

а сейчас: посуди сама — зима
он слабый, он не приспособлен к жизни дикой,
суровой такой
у нас здесь вечный вещный покой
нам видятся вещие сны

я чувствую, говорит деревянно-стеклянная дверь,
как холод пронзает мои кристаллы,

как отслаивается с меня краска, размягчается с годами
моя твердь,
я немножко устала

колготочкам детским грустно, ютятся в углу на полке
девочка немножко выросла, она в них не влезет,
от них теперь нет больше толка
найдут их — и выбросят, пустят на тряпки, как будто
они пустяк
а они, как старики, своё отслужили, полезными быть хотят
разве можно их так просто выбросить

неслышно недвижно минуты текут, пауки свои сети ткут
паутина в углах и на потолке
паутина на лампе и в сундуке
мёртвые мухи у ставней лежат, между стёклами
мёртвые мотыльки зажаты
мышки живые роют нору
в покрывалах, они никогда не умрут

из грязи, из слизи приходит жизнь,
из пыли, из плесени, из подполья
насекомые выходят, и мыши выходят,
и человек из глины, как голем
всё выходит наружу, щебечет, дрожит

вещи скучают и полудремлиют, вещи болтают, слушают,
внемлют
как мышка скребётся, как ножки паучьи
доски и плоскости нежно щекочут
люди вещей многому учат, а вещи всё запоминают и знают:
мы, говорят, тебе всё-всё расскажем, если
ласковым будешь,
если правильно спросишь,
если ты будешь нас слушать

Олав Трюгвасон прогнал Сигрид Стурроду

король Олав ты уйдёшь на дно, ты будешь дышать на дне
рыбы будут плыть над твоей головой
морские твари гадить на твоё лицо
ты будешь оплёван ты будешь побит но всё-таки будешь со мной
и не жалей о мирской другой не ставшей твоей женой
лучше поплачь обо мне
король Олав тебе снится сон, и сбудется после сон

король Олав славь свою долю, свой приговор и позор
твои корабли разбиваются в прах
твой труд обращается в пух
и раненой лапой розу на латы тебе положит Азор
но ты выбрал одно из двух

Олав Трюгвасон видел сон
он шёл глубоко под водой
он был мёртв и воскрес, на груди его крест —
маленький, в сердце — большой

королева Сигрид ему отомстит
ему отомстит за всё

а вот я — камень а вот я — хлеб, вот я — нетленка а вот я — тлен
я умираю на дне морском, воду ощупываю языком
барахтаюсь, руками хватаюсь за ил
о забери меня отсюда, архангел Гавриил!
возьми протянутую ладонь дай мне ладана выведи в дол
Мария, пусть тело моё лишь кость
пусть я в этой клетке всего лишь гость
я должен оставить свой прежний дом
и мы с тобой ввысь пойдём

я видел я видел тропу меж звёзд
по жалам змеиным по остриям роз
и я не боюсь ничего

Кукушкины яйца

Дивные яйца снесла кукушка, росписи на них
золотые, лазоревые; Суббота пришла —
и повсюду кукушкины яйца.

Черта горизонта разъята, и Рот в небесах; из Уст
этих — облака и зари мёд; вдыхая земли
утренней пар и озон,
глядя на лодочки, пускаемые по теченью мальцами,
увидеть: не вечно вращаться, не вечно терзать Колесу,
и не пришла ли Суббота конца времён
с кукушкиными яйцами;
Осанна!

Видела на яйцах червонные пятна Господних страстей,
считала яйца — и видела: им нет числа,
читала на яйцах апофатические имена,
учила склонения, спряжения, времена
и незаметно сама превратилась в тень,
не существую, хотя и не умерла,
но тому, кто видит, как ось-игла
выходит шестом из макушки земли, я тоже ещё видна.

Пасха над городом простирает крыла,
махаоны Везувия ткут чёрный покров,
полярного снега подвенечный убор
надевает Невеста-Земля, солнечное кольцо
/а посредине — бездна/ — от Наречённого;
надменный, поёт Нерон
среди статуй крошащихся, трещин колонн,
но не вечно вращаться, не вечно терзать Колесу!
Алой Субботы шествие встречайте
на площадях, чествуйте,
прищайтесь красной слюной
из разверзшихся Уст, чтоб вдыхать на ветру
яблонеый дым отечества.



Настежь грудь, и в стёжках наста день ненастный,
насмерть снежный стан взлелеять, глины обжиг.
Не разбить эти сосуды — гончаром теперь одна ты —
ледяная, лубяная паутины держишь вожжи,
правишь, коня бока каблуками бьёшь.
Где бы быть, чтоб поймать у овражных и льдистых скатов
след копытца, подковы колечко с мизинца твоё,
вышивка мне птичья, воробьиная, подскажет, где искать их.
Рыбьи поговорки, немолчная, не узнаешь и не
откроется, куда несёшь знамя, покуда не вспомнишь имя.
Нам с тобой не вражда — бездружье, ресницы — иней,
Рогволода дочь, тебе ль печься о ключницы сыне.
Будем грады рубить, храмы строить, и дружбы, и нег —
всего вдоволь, сёстры-вдовы, за слезинку Ярославны,
станем воском, мёдом, сталью, половец и печенег
не возьмут нас, и увидим, как искрятся молодые главы
невестящейся Москвы, загораются маковки-купола.
Хвосты конские, опричнину удельную, поделим пополам.



Некогда зёрнышком ячменным я поперхнулась,
кашляла, кашляла, потом проглотила,
а оно в желудке переродилось в жабу,
чем больше она становилась, тем более жадно
просилась наружу и проявлялась внешне,
я давила её, травила её — всё безуспешно:
жаба выросла, мука крепла и продолжалась.

Натура у жабы — пакостность, гадость, скользкость,
ей нравится всё мерзкое, отвратное, невозможное.
Ой ты зёрнышко ячменное!
Ой ты жаба-жабище, уродище!
Но что-то в ней есть трепетное и нежное,
слабое, женственное, как розочка.
Вырастет жаба — и я разорвусь,
она пускает мне в кровь зелёную слизь,
она говорит: делай вот так, хуже и гаже, подло и низко,
и слушайся меня, смотри,
и мне не спастись, не освободиться от этих болотных уз.
Это пипа суринамская, Лиля о ней знает.
Иногда моя жаба мечтает, а иногда поёт.

Выросли на мне зелёные бородавки,
болотной гнилью изо рта воняет.
Мажу кожу тональником, плачу, как маленькая,
Лиле жалуюсь, говорю: сука эта жаба,
щучья вобла — соблазняет,
держу себя в ежовых рукавицах — так можно и удавиться,
так и хочется сделать что-то липкое, зелёное, жабье,
право же, только тебе и могу пожаловаться.

А вот вчера — не сдержалась,
думаю — чёрт с ним, пусть лучше она быстрее растёт,
позволю себе гадкую шалость.

А что будет дальше я знаю: гнилые забавы,
сладкие мерзости, смешочки да сплетенки, чёрные травы,
улыбочки с плесенью, сомнительные прелести.

Внутри у меня всё испортится, развалится, сгниёт,
накопится крысиный яд, пчелиный и змеиный яд,
и всякий гад, и ещё мышьяк, анальгин, феназепам, йод,
зато моя медь превратится в золото,
во мне образуется философский камень, целебное мумиё,
а потом меня разорвёт.

И вытечет яд и гниль,
и склеится то, что расколото,
сойдёт слизь и счистится плесень,
и я новой и чистой, как оренбургский платок,
как бодлеровский злой цветок,
как платоновский добрый цветок,
как чей-то там дерзкий и дивный цветок,
как белый невинный листок, — цветок и листок, —
воскресну.

И на листе этом новом я напишу одно слово,
и будет оно ужасно
и благовестно.



Я иду по улочке, кухаю лимон,
пятая лапа отрезанный ломоть,
я вношу свою лепту блюду свой закон,
в мои зрачки из твоих зрачков льётся ленинградский закат.

По Петроградке трамвай трамвай
Прячу руки в карманы шантрапа унисекс
у меня от тебя заеда на губах,
ты целовала меня — ах! —
я иду в кепочке курю зарю,
сегодня сочиняю, спустив рукава,
разучусь гореть, буду хуже писать, стану такой, как все.

Дайте мне монетку — поблагодарю
Дайте мне под дых — я заговорю
Но скажу только тем, кого я люблю, для чего весь огонь

И ГОН

Дайте мне денежку отведите домой
я прикинусь убогой прикинусь немой
буду глазами блудливо шарить
презерватив надую как шарик.

По Петроградке трамвай трамвай
а на улице — ах! — месяц май, дивный май
мой нежно любимый, мой Ленинград
трамвайные рельсы, занюханый ад
закатное солнце лимон в каркадэ

Ой, сделать мне чтой ли какой беспредел?
Кого хватать за нос кому казать кукиш
Мне, я знаю, всё можно тем паче от скуки.
лапа не лапа ломоть не ломоть

но я — слов бесценных транжир и мот,
а не просто какое-то чмо, как думают всякие суки.

Я иду по улочке шантрапа унисекс
Я иду в кепочке курю зарю
Я забуду тайны стану прям как все

и за это получу индульгенцию

Увольте, я не хочу!
Избавьте! — и я подарю
от избытка весенних чуйств

тысячи тысяч поцелуев Лесбии
триста тысяч — Ювенцию

Я иду по улочке, кухаю лимон
или:

В мои зрочки из твоих зрачков льётся ленинградский закат

Размышления перед сном

1

Я думаю о Фаллосе могучем,
каким Зевес по небу гонит тучи,
и вижу я общенье наше так,
что радость некую мне должен сей елдак.

2

Я думаю о Фаллосе могучем,
каким Борей в лесу ломает сучья.
Уткнувшись в подушку, приятно подумать о чём-то таком,
запить эти мысли содовым молоком, —
и на душе как-то лучше.

3

Я думаю додумайтесь о чём,
и я вам доложу совсем без стёба:

у дядьки Вовы такого нет,
у дядьки Миши такого нет,
у тётки Марги такого нет, —

у дяди Стёпы! да, у дяди Стёпы!

4

Я думаю о дядьках, разных дядьках,
когда лежу одна в своей кровати,
но это всё неправильные дядьки,
и я в них мысленно стреляю из рогатки.

5

Я думаю об акте, этом акте,
о суженый мой ряженный, поверьте:
я девственница, слышь, и я тебе не дам
до брака после брака после смерти.

6

Я думаю о тётках, разных тётках,
во всяких там особенных колготках,
о тётках с плётками, о тётках, что без плёток,
и я стреляю в них из пулемёта.

7

Я думаю о вас, о сестры, братья,
небесных канцелярий бюрократия
нелепо раскидала наши рати,
но всюду я ищю сестру иль брата.
Я гностик, мне положены развраты!

8

Я думаю о Господе Всесильном
и о существованья предикате,
о мать-земле, суровой, семижильной,
о хляби злой, летейской тёмной жиже,
молочно-содовой, подушечной истоме.
Я сплю, я просто сплю у себя дома,
в хрустальном гробе, и клеёнка жизни —
как самобранка дарящая скатерть.



Ко мне ходит весёлый доктор,
подмигнув единственным глазом,
он в стерильных резиновых перчатках,
с острым скальпелем лезет в душу.
И это ужасно больно,
и слёзы на глазах вскипают,
а он шёлковыми шнурками
привязывает меня к кровати,
подмигнув единственным глазом.
Но я знаю, что так и надо,
и, едва шевеля губами,
всегда говорю спасибо, —
так меня воспитали дома.



Расцветали вишни у Господа Вишну,
да вызрели сливы у Господа Шивы.
А у меня — ой, удивишься! —
одно яблочко, да паршивое.



Пусть меня хлысты терзают,
чтоб являлись мне картинки,
на спине мне вырезают
образа и паутинки.

Пусть бессильно упаду я
в руки измождённых братьев,
чтобы благодать святую
изверских от объятий

в меня вдуло охмельем
гностицизма, манихейства
за кровавые раденья,
раскольные священнодействия,

чтобы ангельскою речью,
презрев стыд и порицанья,
норму, нравственность, увечья,
попились прорицанья.

Чтоб открылась враз колода,
где и образ, и лубок,
чтоб в моей болящей плоти
воплотился Бог.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПОЛЯРНЫЙ САД

Люцидный сон. Ты кто? Я только снится...	6
Жажда моя гложет, гложет...	8
Тошно и омерзительно видеть...	9
Во сарайчике-сараяе с запахом бензина...	10
В этой ночи осыпается белый налив...	11
Старая стану — приеду туда...	12
Бродиль по граду Питеру большая крокодиль...	14
Позвонит мне Т., я ему скажу...	16
Видеть хочу, и не подсовывай мне...	18
Отрежьте мне мои Курилы...	19
Я знаю, новое придёт...	20
Ретро XX век	21
ббб (Как мне мама говорила не ходи...)	24
Когда б я не был так нетрезв...	25
Баллада о солнечной химии	26
Дай мне, если ты правда любишь, живой воды...	30
На ещё не опавший последний лист...	31
Осенний сад Петергофской дороги	32
...и был бы миг — миг исполнения судеб...	34
Кости, земля, трава	36
Озеро Онего с голубым снежком...	38
Есть западный парк за кирпичным закатом...	39
Как оно поделалось — непередаваемо...	41
Где дом ничей во дворике нездешнем...	43
Иней пены нежной	44
я снова сплю. когда бы мы не смели...	46
Концерт №1, Камень	47
Мост через море, в фонарях...	54
Я вижу землю далеко, туман — зелёное стекло...	55
Люцидный сон. Но отчего, скажи, так страшно...	56

II. ПОДВОДНОЕ СОЛНЦЕ

Воды и стебли в водах...	60
Звери хоронят охотника	61
Два воробья и гусь	64
На чёрном дубе подстрели	66
Стансы ближнего неба	69
Игры жестоких детей	70
Падение плода	72
Незасеянное поле (Ксения Блаженная)	73

III. ПРИЛОЖЕНИЕ: ДЕТСКИЕ СТИХИ

О творчестве	76
Мятой сушёной лечась, подорожником...	77
Сосны рождают янтарь...	78
ой сладко жить во время перемен...	79
Говорят вещи	80
Олав Трюгвасон прогнал Сигрид Стурроду	82
Кукушкины яйца	83
Настежь грудь, и в стёжках наста день ненастный...	84
Некогда зёрнышком ячменным я поперхнулась...	85
Я иду по улочке, кухаю лимон...	87
Размышления перед сном	89
Ко мне ходит весёлый доктор...	91
Расцветали вишни у Господа Вишну...	92
Пусть меня хлысты терзают...	93

«ПОКОЛЕНИЕ»

Дина Гатина.
ПО КОЧКАМ

Ксения Маренникова.
RECEIVED FILES

Михаил Котов.
УТОЧНЁННЫЕ ЛАСКИ

Татьяна Мосеева.
СНЕЖНЫЕ ЛЮДИ

Юлия Идлис.
ВОЗДУХ, ВОДА

Пётр Попов.
ЖЕСТЬ

Илья Кригер.
ИНТРОСПЕКЦИЯ

Анастасия Афанасьева.
БЕДНЫЕ БЕЛЫЕ ЛЮДИ

Наталья Ключарёва.
БЕЛЫЕ ПИОНЕРЫ

Павел Гольдин.
УШАСТЫХ ЗОЛУШЕК СТАЯ

Марианна Гейде.
СЛИЗНИ ГАРРОТЫ

Вадим Кейлин.
ЯБЛОЧНЫЙ SPACE

Андрей Гришаев.
ШМЕЛЬ

Настя Денисова.
НИЧЕГО НЕТ

Анна Русс.
МАРЕЖЬ

Данил Файзов.
ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ

Тимофей Дунченко.
КАПКАНЫ ДИВНОЙ КРАСОТЫ

Тарас Трофимов.
ПРОДАВЕЦ ПОЧЕК

Анастасия Романова.
БОЛЬШОЙ СОБЛАЗН

Денис Сюкосев.
ЭТО ЧТО

Алла Горбунова.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, МАТЬ АДА

Василий Бородин.
ЛУЧ. ПАРУС

КЛУБ «ДЕБЮТ»
info@mydebut.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АРГО-РИСК»
info@vavilon.ru

ЗАКАЗ КНИГ ПО ПОЧТЕ
(современная русская поэзия)
<http://www.vavilon.ru/order/>

Подписано в печать 1.04.2008. Усл.печ.л. 3,21
Гарнитура Футура. Формат 70х90/32. Тираж 500 экз.
Изд-во АРГО-РИСК 117648 Москва, Сев.Чертаново, 8-833-218.
Типография Россельхозакадемии. Москва, ул.Ягодная, 15. Заказ .